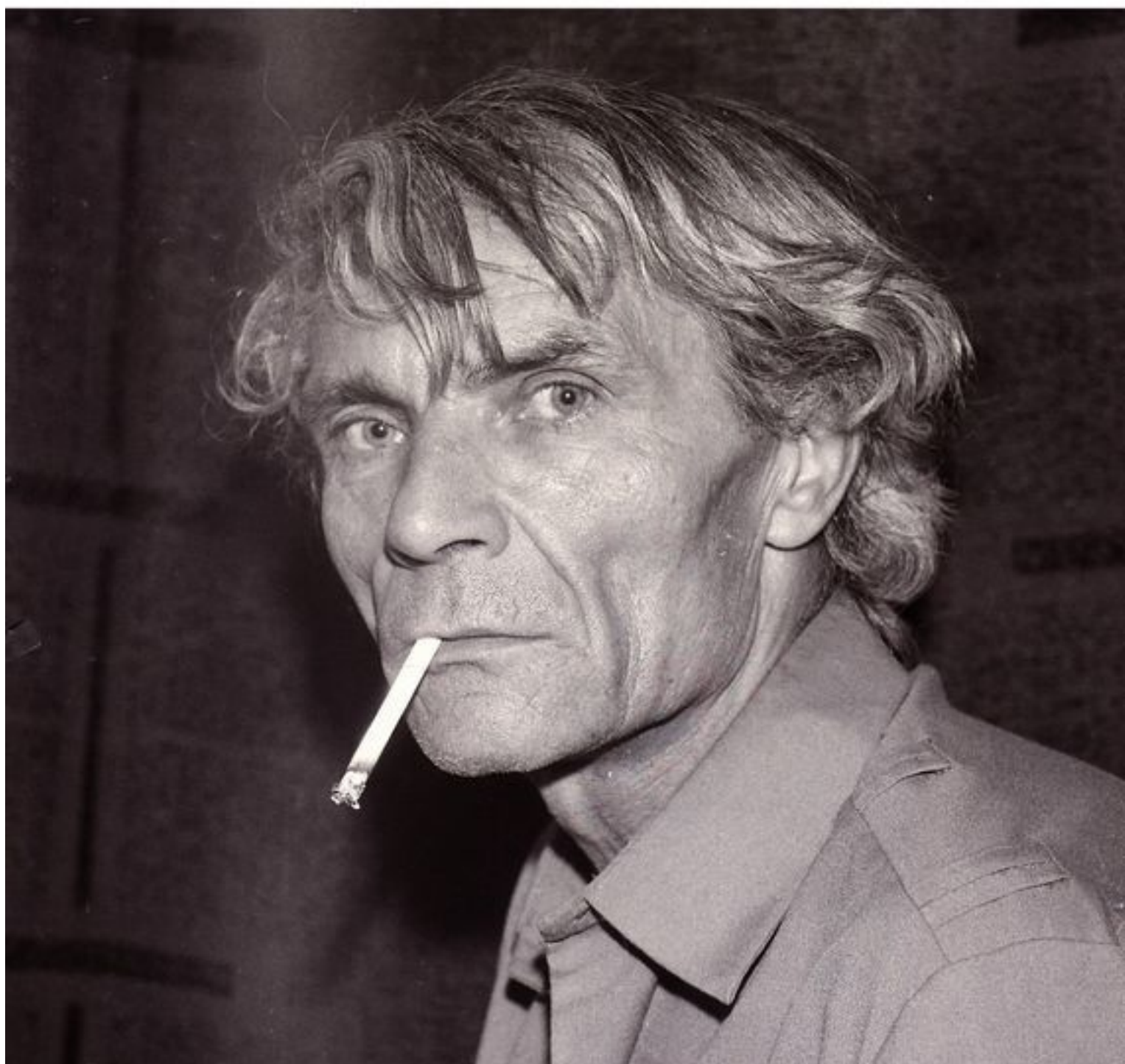


Галина Щекина
Речь о реке

Посвящается поэту Михаилу Сопину



Галина Щекина

**Речь о реке. Посвящается
поэту Михаилу Сопину**

«Издательские решения»

Щекина Г.

Речь о реке. Посвящается поэту Михаилу Сопину /
Г. Щекина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-830726-3

Авторский сборник, посвященный вологодскому поэту Михаилу Сопину, включает в себя поэму о поэте, записи его воспоминаний и размышлений, статьи-эссе о его жизни и творчестве, материалы обсуждения первой книги о нем.

ISBN 978-5-44-830726-3

© Щекина Г.
© Издательские решения

Содержание

Горькая поэма	6
Речь о реке	11
Чтобы временем не смыло	11
Поток первый. Почему?	12
Поток второй. Солдатство	15
Поток третий. Кого и за что	17
Поток четвертый. Через черту	20
Поток пятый. Рывок из дискомфорта	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Речь о реке

Посвящается поэту Михаилу Сопину

Галина Щекина

© Галина Щекина, 2016

© Лариса Юрьевна Новолодская, фотографии, 2016

Редактор Любовь Аверкиевна Молчанова

ISBN 978-5-4483-0726-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Горькая поэма

1

Перебранка шла, пикировка,
Отчего-то было неловко,
Отчего-то ранила сразу
Лишь одна нелепая фраза
«Муж, которого посадили».
Как поспешно о нем судили
И хлестали – и те, и эти.
Пустота без него на свете.
Пересуды – морозным паром,
А в ночном троллейбусе старом
Загremели римские речи,
Завизжали шквалы картечи.
Он бурлил помпейскою лавой,
Угрожал общественной славой,
Ядовит, но точен о – главном,
А вообще оказался славный.
Подступала злая минута —
И к нему пошли, не к кому-то.
На вопрос – всегда многоточье
И подарки разнес на клочья.
Верх безумия и беспечность,
Матерясь, уносился в вечность.
Он великий, да, и не очень —
Не стишками он озабочен,
Их держал, как гвозди во рту,
Их кричал в сивушном спирту.
Он ли падал – вор или князь —
Головою в мерзлую грязь,
Да в окурки, снег и песок
Не его ль впечатан висок.
А людская память мелка —
Не простят его потолка:
Понимал поколение, век —
На родных не поднявши век.

2

Рванулся прочь от злобы и зверья,
Испил сырец – лекарство от печали —
Он свой среди подонков и ворья,
Едва от матери отчалив.
Учили бить и насмерть добивать —
Умел любить до лютого озноба.
До края неба криком доставать,
Идя от гроба и до гроба.
Пинком за водкой, как шлюшонку шлюют,

Гонял он музу, девочку простую.
Сгустился взрыв, прощальный, как салют! —
Сгорел, от жалости лютуя.

3

Он был черен, и худ, и ободран, —
Арестовано солнце за тучей —
Был насмешливо легок и бодр он,
Невозможный, ничей, неминуемый!
Он родился, когда убивали,
Среди горя и тленности выжил,
Рай мифический нужен едва ли,
Ад кромешный привычнее, ближе.
Так возник человек издалека —
Вечный путник без сна и приюта,
И повел он презрительным оком,
Явно знак подавая кому-то.
Подносили шипучие кубки —
Отвергал и еду и напитки.
Признавал лишь отраву и трубку,
Диких песен измятые свитки.

4

Поверьте, жаль, что мне не суждено
На пару с вами пить четыре белых,
Но потрясение – стихом порождено,
Как плетью дернет – сердце ослабело...
Смутитель, хулиган – и в судный день
Не очень-то покорный и приличный,
Но что на тело птичье ни надень,
Проступит кровью через ткань величие.
До этих молний явно не достать
И клевету не вторить щебетаньем.
Колючий жар печатного листа
Да сохранит от новых испытаний!
Не стану врать, что знамя подхвачу
Для прошлых и грядущих революций.
Сквозь слезы улыбнусь щербатым блюдцем:
Я до бессмертья вас застать хочу.

5

Добираюсь до вас только к ночи.
А насчет этой новой подборки —
Понимает вас тот, кто смириться не хочет, —
Гениально от корки до корки.
Не волнуйтесь, зашла на минуту —
Вам оставить журнал и лекарство.
Мне назначено в шесть к институту,
Страшный дождь и в дороге мытарство.
В перегруженной памяти вашей
Я осталась в заляпанных ботах,

В детских двойках и рисовой каше —
Хохоча, и в слезах, и в заботах.
Но, скрывая тоску и усталость,
Удаляясь, как эхо аккорда,
Как собака с задумчивой мордой,
У дверей я осталась, осталась.

6
Кому поставить в вину
Всю эту темень и чад?
Пора бы детям ко сну,
И взрослый рухнуть бы рад...
Но горечь, нечем дышать,
За дверью снова шаги,
И горло сушит закат.
Ты выживи, ты солги,
Что папа твой на войне,
В руке сжимал пистолет,
Вон карточка на окне.
Тебе – всего десять лет...
Что в бабкины погреба
Вела траншея-подкоп,
Что от горящего лба
Пробьется дикий озноб,
А братику не вставать —
Он сонный и не жилец.
Завоют бомбы опять,
Скорее бы всем конец...
Скорей в родные холмы,
Где горы мертвых солдат.
От Курска до Колымы
Они в шинелях лежат.
В закатном пекле войны
Ребенок жизни не рад,
Ушел, поддернув штаны,
Спасать отставших солдат...

7
Дождь и град – свинцовым соло.
Снег и ветер – треск одежд.
Да, умел ты быть веселым,
Не теряющим надежд.
В том краю колючих линий,
Где последний перевал,
В человеческой пустыне
Ты судьбу одолевал,
Глядя ей в пустые очи,
Выговаривал слова,
От которых кровь клокочет
И светлеет голова.

Мальчик в разбомбленном поле,
Ангел твой к тебе успел,
Чтобы ты в глухой неволе
Долю мытаря пропел!
Не сойдешь на полустанке
В огуречную грядку —
Там прошли чужие танки,
Там я мысленно пройду,
Потому что дни и годы
Догораем мы поврозь,
На хрустальные погоды
Окончание пришлось.

8

Речь о реке – прародине отцов,
Свернувшейся в холодное кольцо
Не на руке, на шее у страны
Под плач и вой, горячечные сны.
Речь о реке из берегов – навзрыд
Катящийся в столбцы и строки взрыв.
И о тоске по той рекой уплывшим,
Живым теперь и прежде жившим.
В поток чужих страданий – взгляд с моста
И боль от попаданий тысяч ста,
Казненного пророка слово лишь —
Любви навек, как тюрем, – не простишь.
Изгиб реки, что стылой бездной дышит, —
В ней облака и сорванные крыши —
Изгиб руки у лба бессонной ночью.
Мольба за жизнь, которая клокочет.

9

И пьет она – и пьет неутолимо,
Но это не оправдывает климат —
Всё пересохло в горле у земли,
Всё вытянули травы, что могли.
Как холодна она и молчалива,
Пока ее напивает ливень!
Пускай могильной раной зарастает
Один из тех, кто пел о серых стаях.
А мы хотели в бархате и лентах
Сокрыть скорей беспомощность момента?
Отдернув руку, – ты, земля, бери
И поминай пыланием зари.
А может – прыгнуть и укрыться в яме
Под хрусткими и белыми цветами?..
Тела посеем – горе пожинать,
Земля же принимает, как жена.
Молчи и пей дожди, зажмуря веки,
Речь о реке и речь о человеке,

Который – свет, пока не скрыла мгла,
Пока судьба настигнуть не могла.

10

Ни плеску речному, где сонная рябь,
Ни блеску поляны, где бьют глухаря,
Не станете грохотом пули мешать,
Поймавшись на запах костра-кулеша.
Топчан. Холодильник. Оконный проем.
Машинка печатная, с нею вдвоем
Всё курите «Астру» от всех втихаря —
Вот ваше пространство, где годы горят.
Поэтово логово, с пепла начнись,
Летящего вниз, уносимого ввысь!
А дождь, нескончаемый дождь за окном,
Напомнит пускай о потоке ином,

Бегущем на землю к той самой реке,
Где мы умираем от вас вдалеке
И смотрим бессильно в оконный проем
И в небе ненастном куда-то плывем...

Речь о реке

Литературная запись авторской речи

Михаила Сопина – Галина Щекина.

Общая редакция – Татьяна Сопина

Чтобы временем не смыло

При жизни поэта были две попытки запечатлеть его образ – это сделали Вера Белавина в документальной повести «Нет, жизнь моя не горький дым» и Галина Щекина в литературной записи «Речь о реке». Последняя относится ко второй половине девяностых годов. Не избалованный вниманием, Михаил охотно отвечал на вопросы, рассказывал о себе, о процессе творчества. Это происходило у нас дома или на улице. Помню длительную беседу в беседке детского сада...

Галина старалась записывать точно, однако здесь была сложность. Дело в том, что муж не относился к тем, кто сразу гладко чеканит мысли – как это, к примеру, случается с крупными руководителями. Его мышление – всегда процесс. Он нуждался в собеседниках, выстраивал свой внутренний мир, он ведь «пахал по целине». Тем не менее, в стихотворную строку процесс никогда не выходил (стихи по наитию как «поток сознания» Михаил вообще не признавал). Он очень строго и уважительно относился к печатному слову. Всё лишнее отсекалось в процессе работы.

Брать интервью или записывать за ним было... «невозможно» (выражение Г. Щекиной). Он мог долго «буксовать» на одном и том же, а потом, перескакивая через какие-то ему одному ведомые хребты и долины, говорить совсем о другом. Так он нащупывал нить к парадоксам и откровениям, поражающим в законченных произведениях

Мне самой не раз приходилось работать с мужем. Говорит – я записываю. Прочитываю. Всё, говорит, не так. Начинает поправлять, увлекается, и получается совсем другая запись. Так может происходить пять-шесть раз, и всё разное. В каждом варианте что-то ценное новое, что-то потеряно. Выстраиваю, убеждаю... А он всё не удовлетворен. Лучше бы, конечно, чтобы он сам сформулировал, как хочет, но тогда это уже станет стихами.

Отсюда – известная рваность документальной записи «Речь о реке», которая автором повести удачно разделена на «потoki». Щекина хотела представить поэта как стихию, и ей это удалось.

Образ узнаваем. Хорошо ощущаю за строчками образ мужа – его манеру изложения, даже голос как будто слышу, вижу жесты.

Однако при подготовке к публикации я произвела редактирование. При жизни Михаила запись была прочитана у нас дома, не на всё муж дал согласие. Исключены также исторические и биографические несоответствия.

Татьяна Сопина

Поток первый. Почему?

Жизнь состоит из циклов от рождения до смерти... Под этим я подразумеваю то, как пишу. Стихи – это то, что я понял и что надо сформулировать. И я ищу, как это сделать. Это своеобразная ниша для перегруженного сознания, постоянные изменения, цепь их – процесс. Так идет анализ сущего.

Я всегда расшибался и расшибаюсь о нежелание людей думать, анализировать. Мое спасение было именно в привычке анализировать. И я пытался говорить об этом, но редко встречал вездливые глаза... Наталкивался на глухоту, на ненависть. А во мне уже было всего до отказа, и я хотел на равных. После столкновения во мне всё перегорало, и оставалась только жалость. И чем они плоскоглазее, тем их жалче. Но на границе перегруза снова начинались «сумленья» – не идет баланс, когда уходишь от деления на черное и белое.

Чем больше пишу, тем сильнее ощущаю свое неумение. Поневоле возвращаюсь к началу пути. Вот и происходит цикл возрождения, новое рождение.

Я с печальной улыбкой смотрю на зеркального мальчика Сопина. Мы с ним разные люди. У меня идет вечное рождение, я оглядываюсь, смотрю. Мы идем на разлет, отдаляемся.

Я родился сверхэмоциональным, и это навсегда окрасило меня барьером страха. Жизнь вливалась в меня до отказа, одно вытесняло другое, как при сосисочной набивке.

...Запомнил слом тридцать седьмого года. Постоянно висящее солнце, которое слепило, но не грело. Мне шел седьмой год, мы с пацанами вовсю играли во врагов народа. До тех пор, пока после вызова на второй допрос не исчез отец.

Я был тогда маленький, но не отношу себя к тем, кто говорит, что ничего не знал. Трагедия висела над отцом долго, от детей уже ничего нельзя было скрыть. Ночные разговоры взрослых мешали нам спать. Наверно, отец чувствовал конец, и эти ночи были для него попыткой продлить жизнь. Он запил. Такого раньше не было – серьезный выдержанный человек, военпред на Харьковском танковом заводе. Он пил, сжимая в руке партбилет, потом плакал... В первый и последний раз я видел отца таким. Умудрен я потом стал, научился водку пить – «питие мое», но тогда меня это раздавило. Мы с отцом были неразъемны, как формула... Он исчез (был арестован), но вернулся, а вскоре «скончался от скоротечного распада легких». Какой там распад? Здоровый, сильный мужик. Даже я, ребенок, не мог поверить в такую «скоротечность».

Отец да дед были у меня большевики, но вообще у нас в семье было наворочено – дроздовцы, махновцы... У бабушки было шестеро братьев, они носились на конях, свирепели, врываясь друг к другу с оружием. Однако при бабушке не смели.

Один из дядей – красный комиссар (бывший белый) – и другой, служивший при немцах в полицейской, учили меня добивать людей в ухо. Чем было спастись от такой отравы? Беременеть начинкой и смирять ее до тех пор, пока не взорвется?

В 1939 году арестовали родителей моих друзей по двору. Детей осталось трое: два мальчика и старшая сестренка лет четырнадцати-пятнадцати, в которую я был тайно, до рыдания, влюблен, так что родители, посмеиваясь, обещали нас поженить.

Ребята остались одни, и я таскал им хлеб пеклеванный, был такой хлеб очень вкусный, я сам его очень любил. И вот совершенно необъяснимо для самого себя (тогда! Сейчас-то я понимаю, это было гипертрофированное чувство сострадания) я пошел к магазину и у входа-выхода стал просить милостыню, крестясь и кладя поклоны. За этим занятием меня обнаружила наша учительница Ксения Михайловна Мухина. Человеком для пацанов она была добрым, но время было злое. И вот на очередном поклоне я ощутил невыносимую, зверскую боль – она крутила мне ухо, не просто крутила, а рвала остервенело, что-то приговаривая

при этом. Сейчас я думаю, что, причиняя мне страдания, она хотела избавиться от чего-то в самой себе. Может быть, она перед кем-то или перед чем-то сама вела себя так же, как я, кланялась, заискивала, только втайне.

Я рыдал без слов, с болью и внутренней сладостью – страдаю для ребят – от сопричастности, что ли... Гипертрофированное сострадание – крестный знак нашего рода, может не у всех, но у кого-то, над кем-то он был. Дед Никита, более-менее безболезненно пройдя процедуру раскулачивания, ни с того ни с сего стал оговаривать себя, распускать молву, что у него припрятано про черный день. Плевать он хотел на коммунарщиков, хватит и на приобретение нового хозяйства, и на то, чтоб голодрань беспортошную, этих лодырей, скупить с потрохами...

Был взят, доставлен куда надо, зверски бит шомполами. Когда били, поднимал голову и кричал: «Объединяйтесь, пролетарии, над бездной кровавой, перед гибельной дорогой». Об этом рассказывала бабушка. А на ее вопрос: «Зачем ты дразнил их, зачем выкрикивал, обозлял?» – отвечал: «Молчать, опускать голову, закрывать глаза надобно тогда, когда устанут пилатствовать, а пока бьют, в глаза глядеть надобно, так разумею». Прожил он после этого один день.

Всё перемешалось... Семнадцатый год был для меня романтикой, комиссар всё равно что святой, но благодаря родне я никогда не мог принять окрас – разделение на красных и белых. В числе моих сверстников выкалывал глаза маршалам Егорову и Тухачевскому. А в сорок втором при немцах время словно опрокинулось на полвека вспять. Открылись церкви, я присутствовал на крещенском водосвятии.

Как приблизить груз яда и противоядия? Ведь всё сущее в нас и из нас. Самое опасное – не давать отчет будущему. Мы можем минировать память и неосознанно программировать идиотизм наших близких... Любое непродуманно выплунутое слово способно разрушить человека. Наша несуразность и скотскость материализуются и наполняют эфир. Может, мы не чувствуем, но они носятся там, эти гадостные токи. Еще немного, и наука научится их улавливать. Выходить на них, как на обычные волны. Когда я начинаю в компании так говорить, собеседникам становится опасно: «Раз ты этакий, иди на...» Они не хотят такого русла и вот-вот хрястнут меня. Я ухожу обижаться...

Я болен отличием от других. Ну и что, если они вурдалаки? Их тоже запрограммировали – так же, как вас, как и меня. Чего ж мы цапались-то? Приятель Леша был вместилищем своих и чужих идей, в том числе и вредных для него, но, когда на него покушались, бесился. («Дай правую руку!» – «На, только дай выпить, больно же...»)

Я находил и терял людей глазами. Бородулин на поселении говорил: «Не переносу плотность населения и коллективность в любом виде». Но ведь человек живет не ради постижения какого-то одного человека или даже группы, а вообще для всего мира. Он должен хотя бы стараться понять – что произошло. Почему нет, а не да? Я не знаю, хорошо им или плохо, и это меня сдерживает... А когда пишу, думаю – не боюсь ли быть обкраденным?

В двадцать четыре года стал писать дневник. Перечитывал и понимал – пора чистить, выгребать утробную грязь. Она может рвануть, переполнив... Судил я тогда обо всём позиционно, на мне было давление нашей «культуры», то есть халтуры в виде культуры.

Партийное сумасшествие тоже сделало свою злую работу, утвердив рабоче-крестьянский метод бытия и мышления. Лишь бы на крестики-нулики всё разделить... Брел по пояс в общественном дерьме, ерошился.

Почему стал писать? Однажды мне на встрече задали тот же вопрос. Я сказал: «А почему Саманта Смит писала президенту? Почему? Вам не приходило в голову, что газовые камеры применять необязательно? Можно духовно сдохнуть без камеры».

Пионер Советского Союза, я разрывался на части: чем сильнее искал человека, тем глубже забирался в ров. Отсюда моя любовь и дружба. Как только случалась вспышка пони-

мания – это дорого! – начинал чувствовать разлуку. Мной «объедались» женщины в любви, а мужики в дружбе. Процедура контакта ощущалась мною как в первый и последний раз, и они уставали. Вслепую я это делал или специально? Говоря по-земному: жалко иметь близкого близко...

В детстве я много прополз по скверне войны. Были и друзья, но всегда старше меня. Детприемники, окружения, бомбардировки... Выводил наших через немецкие территории. Рос плохо...

Видел ли эсэсовцев? Здесь дело не в форме, серая она или зеленая. Тот, кто бьет меня до хруста и писанья кровью, тот и эсэсовец.

Я пил пацаном спирт. Видел смерть обрубков людей. Наверно, понимал солдатиков, потому и жизнь врага, и нашу жизнь видел с изнанки. И тех, и других бросили в военную мясорубку, чтоб она задохнулась. Я ничего не выискивал, просто был повергнут, мордой в это ткнут, потому что изначально был приговорен к тому, кому хуже. К пристреливаемой лошади, к перееханной собаке... По телевизору всегда болею за тех, кто проиграл. Такая природа.

Жалел наших, немцев, много было хороших немцев, которые перестрадали. И потому стал понимать: война – это расплата за скотскость, за то, что общество не может сказать «хватит».

Поток второй. Солдатство

После гибели отца нас с сестренкой увезли в деревню к бабушке. Потом – война.

У нас во дворе частями Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом брошены. Окопы ошибочно выкопали за избой, а дом таким образом оказался на линии огня. Начались тяжелейшие бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами стали устанавливать пулемет, но никак не могли заправить.

Бабушка выскочила из избы с поленом: «Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а здесь дети малые!» Велела тащить пулемет на угол двора и там сама заправила пулеметную ленту.

Когда начинали бить орудия, мы с Катериной бежали прятаться в погреб. Бомбежки продолжались по трое-четверо суток... Я был в зачумленном состоянии. Когда сутками напролет бомбят, перестаешь испытывать страх за жизнь – безразличие полное. Хотелось спать. Я не думал, убьют ли меня, закрывал маленького братишку Толика, он тогда живой был.

В таком состоянии солдаты, измотанные, спят прямо в окопах. Сейчас это совершенно не может быть понято... Скорее бы бомба попала, кончились бы муки.

Как сейчас вижу солдатика с оторванной рукой: он сидел, привалившись к избе, обнял уцелевшей рукой остатки пустого рукав и раскачивался из стороны в сторону... Не знаю, отдавал ли себе отчет в происходящем.

Между Ново-Борисовкой и Хотмыжском были двойные-тройные переходы наших и немецких войск. Подолгу лежали волдыреобразные тела советских солдат, подступы к Ломному были усеяны ими. Наши врывались в какофонию бомбежек и, случалось, обстреливали свои же позиции...

Проходила РОА – русская освободительная армия (вторая ударная) Власова, кто-то присоединялся, но матерей вступивших в РОА не преследовали. Люди настолько были подавлены трагедиями, – у каждого своя! – что не способны были клеймить.

Диковинна судьба РОА. Она создавалась из военнопленных, но это не значит, что там были сплошь головорезы... Она сражалась на стороне немцев, но не все на нее смотрели как на врагов. Она называлась ударной – может быть, чтобы принять удар на себя? Борис Гусев, бывший солдат сорок первого года, бывший власовец и заключенный, однажды внушал мне мысль, что надо было вести дневник создания партизанского движения в Белоруссии. Он считал, что власовцы были рождены войной как козлы отпущения: переодетые в немецкую форму, они вырезали население, запугивали его и подталкивали вливаться в партизанское движение. Фактов на этот счет у меня нет, но разговор такой был.

Когда мы бежали из-под Харькова, в одной массе солдаты, дети, женщины, старики, в одном массиве были перемешаны самые разноцветные фигуры. Если бы нас тогда остановили, мы бы, наверное, умерли на месте. Фашисты нагнали нас, утюжили танками. Разорванные, раздавленные дети... Мне череп проломило осколком, спас какой-то военный, замотав голову тряпкой и пихнув в товарный вагон в районе Богодухова. Я валялся там, на опилках, весь в крови. Растолкала старушка, снова шли в толпе... Уперлись в реку, горел мост. Солдаты наспех сколачивали плоты, на них прыгали люди с детьми, плоты переворачивались. И всё это под бомбежкой...

Я видел бег исхода и беспомощность армии. Немой плач, как на картинах Чюрлениса серии «Похороны». Там есть траурная процессия – длинная вереница, которая теряется у горизонта, люди идут к солнцу, символу жизни, и прощаются с ним. А потом, когда солнце заходит, оставляя кровавые отблески, сияние исходит от самой процессии, от людей.

Всё выше в гору тянется шествие, выше и выше во тьму, будто огромный сверкающий уж... уходит, чтобы исчезнуть.

Водить через фронт военных – это было естественное внутреннее состояние, как дыхание, потому что это была армия, которая – я. Где шли бои, какого масштаба – знала бабушка, деревенская маршалюга. Она и втянула меня: посылала переводить через линию фронта окруженцев. Мы, ребяташки, хорошо знали окрестности, кустики, овражки, буераки. Выводил солдат два раза.

После сорок второго пришла другая армия, армия-победительница, но любовь моя осталась там – в сорок первом. Солдаты сорок первого года, восходящие на алтарь грядущей Победы – они во мне. Не знаю, кто они, но получаю от них оценку тем, кто остался жив. Я смотрю их глазами, вижу, как они смотрят. Их место на земле осталось пустым, и поэтому в День Победы нет у меня в душе ни торжества, ни гордости.

До сих пор не понимаю, как выжил... остался жив. С тех пор ненавижу слово «выжить», допускаю только слово «жить!», ведь «выжить» – подразумевается любой ценой. Какой ценой выжили в тридцать третьем, когда мои родители бежали от голода с Курщины? Какой ценой выжили в тридцать седьмом? Или в войну? Часто ценой молчания, падением ниже последней черты.

Мы и сейчас продолжаем по инерции не жить, а выживать. Это какая-то затянувшаяся подготовка к светлому будущему! Борьба за выживание – унижение для народа, страх, засевший в душе. Когда он поражает целое поколение, начинает передаваться по наследству. Если покончить со страхом в себе, то, может быть, спасем от него грядущее поколение. Нам выживать, а им – жить.

Поток третий. Кого и за что

Женщины, у которых немцы убивали отцов, братьев, мужей, детей, эти женщины, заведя колонну пленных германцев, выносили картошку, свеклу, морковь и оставляли на капустных листьях у дороги. В глазах тех, для кого это было предназначено, была роковая неспособность понять движущую силу таких поступков. Так и должно быть, а почему? Так легко было спутать рабство и сострадание, трусость и милосердие... Я потом и у наших встречал такие глаза. Дубасили меня во время следствия, и один из «нигилистов» (так он себя называл почему-то) всё норовил под дых сапогом. Очень ему это нравилось, и еще на глотку встать и давить, как бы говоря: «Вот я всё могу, а ты, скот, не можешь дать мне в морду». Он бил меня за что-то, чего в нем самом не было, чего он сам не мог понять. Упрекать убийцу за то, что в нем нет человечности – упрекать дурака за то, что в нем нет ума.

Над глубинкой в полный рост вставало раздувшееся от голода тело русского феномена: в побежденную Германию везли продукты и прочую помощь. А с запада на восток шли эшелоны, набитые вчерашними защитниками Отечества. Более удачливые слали домой подарки, кто-то даже ящиками или вагонами. В конце войны на территории Германии я был принят танковыми частями, пил с ними водку и ощущал неравенство страшное. Видел, как командиры посылали запечатанное в луковицы и в мыло золото...

Акценты смещались: врагами становились увечные и неудачливые. В сорок третьем—сорок четвертом годах стало много калек, этому не удивлялись, душу предохраняло время. Я с ними дружил. А к концу войны и после войны, когда они повылезали из всех щелей ползком, хромя, на колясках и тележках – стали заметны по-другому. Их просто убирали, высылали подальше с глаз долой.

Вражеской становилась и многомиллионная армия агонизирующей безотцовщины. Скоро ей нашли «достойное» применение. Вся оккупированная территория была разрушена. Её надо восстанавливать любой ценой, откуда-то взять армию новых строителей, которые бы валили лес, долбили руду, клали кирпичи...

Ужас и простота этого обстоятельства привели к людоедской политике. Бросили клич – выжигать каленым железом, хватать за бродяжничество, незаконное ношение оружия (валявшегося горами везде), за воровство. Кого? Были орды бездомной шантрапы, брошенной на произвол судьбы, вынужденной себя кормить, греть, защищать. Выжившие в голоде и бомбежке, выплюнутые войной и расшвырянные по белому свету, они же оказались обречены на жерло лагерей.

Приняв знаменитый указ от четвертого июня сорок седьмого о борьбе с хищением государственного и частного имущества, отец народов убил двух зайцев: обеспечил рабочей силой самые гиблые места в стране и отреагировал на просьбу граждан обезопасить их от послевоенного воровства и бандитизма. Были ли среди них истинные преступники? Да, были... немного.

Система была простая: брали одного, били, он называл, часто наугад, еще двадцать пять... Позже я понял, что методы борьбы и с Бухариным, и с беспризорником были одни и те же. Битие определяло сознание: за одного битого трем (тоже битым) давали на полную катушку. А за трех? Здесь – весь смысл. За проступок, каравшийся ранее месяцами, начисляли по десять—пятнадцать лет, без права пересмотра дела. Многие ли сегодня поверят в реальность печального указа? А ведь именно по нему уходили сотни и сотни тысяч туда, где девяносто девять плачут, а один смеется – хозяин.

На предприятиях шли собрания, лекторы гремели гневными речами, набирали мощь групповые судилища. Разверстые пасти лагерей жаждали пищи. Распалось «общественное мнение», а о «попутно» осужденных и по ошибке казненных скромно умалчивалось.

...Народ требовал – партия и правительство откликались, опираясь на слепоглухонемые, околпаченно-ухайдаканные массы. Шла гражданская война против собственного народа. Общество отплясывало на костях людей. В числе послевоенной пацанвы я был ввергнут в двойной обман. Школа рабизма втягивала человека в мясорубку, да еще заставляла соглашаться, что эта карта справедливая, что он преступник. И чем доверчивей, беззащитней был осужденный, тем сильнее он верил в свою преступность.

Сотни порченных пацанят сгоняли вместе, принуждали надеть на себя личину лагерников. Им ничего не оставалось, кроме как ощущать себя... волками. Повторяю: среди тех, кто попадал в облавы, были и воры, и насильники. Но не все. А давали всем – кому пять, кому десять, кому двадцать пять. От имени народа. Мракобесие народа – в готовности проголодовать за это и тем самым своих же детей послать на заклятие...

Система не изменилась с тех пор: всё, что ни делается – именем народа. Это машина. Многие не сознавали этого. На воле народ ослепленнее, чем в заключении. Мы там глубже всё видели. Осужденные по уголовным статьям бунтовали в лагерях, а политические молчали – мол, мы и вообще не при чем. Даже Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» внушал, что если не за политику сидишь – ты дерьмо. А виновата была только машина.

...Страшное избиение видел в Харькове: человек кричал и испражнялся. И чем сильнее кричал, тем сильнее били – может, хотели заглушить крики, забив до смерти.

На Олпе в транзитной камере на моих глазах происходило мужеложество. Мужики насиловали мужиков, свои – своих же, чтоб никто не жаловался, не «мутил воду», не искал правду, не стучал. В Соликамске хотели насиловать меня...

Жалость считалась среди заключенных преступлением. Нельзя было отделяться, уединяться, быть человеком, быть собой, грустить, задумываться... Требовалось быть массой, быть со всеми, всеми и никем. Кто сопротивлялся, того наказывали. Могли бросить на нары и насиловать по тридцать человек, пока не вывернут наизнанку.

Однажды меня, шестнадцатилетнего, в колонии Макаренко закрыли в тумбочку и сбросили с третьего этажа. И надо ж, ничего не случилось. А если бы и случилось, никто бы и не заметил. Мало ли нас убивали в заведениях печали!

На Олпе я согласился работать на ЧК. Сожалею, что так случилось, но не хотел, чтобы меня использовали, как это у чекистов культивировалось. У меня не было ни малейшего желания издохнуть. Могу об этом заявить где угодно. Это была форма самозащиты плюс возможность кому-то еще помочь.

Оказался везучим. Меня не насиловали, не калечили. И я сам никого не убил, не изнасиловал. Хотя, конечно, языком болтал очень много.

1957—1958 годы... Приступ аппендицита у меня случился на этапе. Продолжал идти. Потом двадцать два часа везли меня с перитонитом на волокуше в лагерную больницу. Лошадиная доза пятипроцентного морфия, боль адская. Путь в лагбольницу был только один – через пересылку. С развороченным животом оказался в камере, битком набитой педерастами. Их заживо съедал сифилис. Это были преимущественно симпатичные молодые ребята, которых этапировали в отдельную зону. А попал я в эту камеру проще простого: пересылка была переполнена, и какой-то ухарь из писарчуков начертал на моем личном деле «сифилис», я потом сам читал эту надпись...

Не буду вспоминать все связанные с этим мытарства, в результате которых я отвалился почти девять месяцев, пережив несколько операций. Врач смотрел с жалостью: «Зачем жить такому?..»

Находясь незначительное время в коридоре, стал свидетелем разговора: молодую женщину в период следствия следователь склонил к сожительству. От него зависело, как пойдет следствие – быстро или затянется. Она забеременела. Сокамерницы научили ее сказать об этом следователю, чтобы шантажировать его, изменить ход дела. После этого она была

пьяным следователем избита. Тут же ее отправили по этапу, в животе – мертвое существо. Она шла транзитом – жить ли, умирать – не знаю. Фантасмагории Босха и Гойи – кукиш для слепых по сравнению с такими реалиями.

Ворочала лопастями судьбомешалка, жевала, чавкала, выплевывала: Буреполом, Усольлаг, Ивдель, Ныроб, Южкузбасслаг, Печора, Чукотка, Норильск... Звенели медали и наручники. Гремели победные марши, а на Дальзонах им вторили «дегтяри» и ППШ, поливая свинцом живой шевелящийся чернозем

«Преступный мир истребит сам себя». По этой знаменитой формуле жил разъеденный пеллагрой и вшами вертеп, где «скоты», изувеченные своими, чужими и еще раз своими, действительно истребляли себе подобных. Да, для нормального, не утратившего способности сострадать и ужасаться человека войти в этот скотомогильник было катастрофой.

Пока фальшивый голос будет нам нашептывать: «Ты не они» – в нашем обществе мало что изменится. И не надо, бога ради, восклицать: «Ах, молодежь, откуда такие ублюдки? Подкладывали под жар-птицу идеи золотые яйца гуманизма, а вылупились такие чудовища». Не надо себя обманывать. Нет лобового воспитания. Мы вкладываем себя сегодня в детей своих, а через их память – во внуков.

Мое поколение прошло через всё – войну, голод, концлагеря, целину и стройки века, а в глазах общества остались подонками. Выросли без любви, без воспитания любовью, и теперь в детях нашего поколения взрываются мины этой нелюбви, несправедливости. Генетическая память подрывает не тех, кто минует (то есть сеет зерна зла), а совсем не подозревающих об этом потомков. Это не упрек кому-то, а мольба о сострадании – ко всем...

Мое поколение... Мы уходим из жизни, как арестанты, на иллюзорную волю, ничего, кроме концентрационных лагерей, не теряя. Самосуды, судилища, издевательства, растления – вот что получили мы от общества по его просьбе. Без шор пришли мы в мир и умирать будем спокойно, без политгипноза, в здравом уме. Говорить о пережитом тяжело, но и жить, когда видишь, что хаос безумия обретает четкие устойчивые формы – невыносимо.

Поток четвертый. Через черту

Во всех лагах была одинаковая система уничтожения человека. Нужно было не просто рубить лес, колоть уголь, руду, корежиться в своем свинячьем быту, нужно было помнить, что это навечно. То есть влезать в отмякшую за ночь робу, идти чуть свет на пятидесятиградусную стужу, смерзаясь с этой робой, добить ломом до полного отупения, до глубокой темени, чтобы свалиться, оттаивать. А с утра всё сначала. Не день, не два, не месяц, не год, а годы, десятки лет. Сознание не могло переварить такое.

Там не то чтобы не хотелось жить, ТАМ хотелось не жить. Обреченность (ханавей) заставляла людей убивать себя всеми способами. Калечили себя, рубили руки (махнул топором – пальцы прыгали как живые), на известковых карьерах засыпали пылью глаза... Был такой Муценко – засосал измолотый известняк, вдохнул его, чтобы заболеть. Потом мы встретились с ним на зоне – он был уже полный наркоман. Желудочные капли на опиуме, симплекс, омнопон, пантопон, морфин, кодеин, табачный настой... Да гоняли по венам всё, что горело.

Черту между жизнью и смертью перешагивали сознательно. Помню Мишу – он вышел к железнодорожной ветке, где ходил паровоз с пятью вагонами. Накинул фуфайку на голову – боялся увидеть себя мертвым! – и под паровоз бросился. Его в клочья развезло по шпалам. Двенадцать лет лагерей вынес, а оставшиеся два года ждать не смог. Он свой поступок продумал...

Но как миновало меня? Когда я смотрю теперь на себя прошлого, то подозреваю, что был в состоянии сна. Муторщины было достаточно, и момент мог назреть, как у многих, но я пропустил его. Организм потерял способность реагировать...

К черте был близок всякий, у кого рушились иллюзии. Все, кому до восемнадцати, попадали в колонию. Там было всё так же, как в обычной тюрьме, только страшнее, потому что неуправляемо. Взрослые (не все) способны были как-то управлять собой, влиять, понимать. Для малолеток жестокость становилась обыденностью. Однажды вохровцы привели в зону детей – выступать. Девочка годов шести взяла и запела: «Эх, трактор идет и бензином пахнет. Скоро миленький придет, через... трахнет». У слушателей были натянутые улыбки. Как на это реагировать? Серьезно – нельзя, хотя на самом деле это слишком горько. Для девочки, у которой мама пила, имела не одного папу и выкрикивала подобное – это естественно, обыденно.

Однажды мы кололись вместе – Женя Усольцев, Витя Морозов, Толя Крапивин. Крапивин был на расконвоировании, и к нему как раз приехали на свидание, привезли эти желудочные капли на опиуме. Мы их вскипятили, прокололись по три куба примерно. И разошлись по баракам, это как раз было к ночи. Я очнулся – и голову не смог поднять с подушки. Волосы держали, они присохли к подушке, оттого что лилась кровь и рвота.

Это был не единственный случай. Хлебал и кололся я не менее трех лет. Считал себя настоящим наркоманом.

После выхода из лагеря была возможность достать морфин в больших количествах, но мне уже не надо было. Почему оторвался от наркоты? С одной стороны, много раз приходилось смотреть костлявой в глаза, это всё же рождало противодействие. А с другой – нутром почуял, что дерьма накопил в себе достаточно, требовалось освободиться от него. Начал писать, а наркота и поэзия – несовместимо.

Смотрю по ТВ на современных наркоманов... Слишком много разговоров о том, что люди хотят уйти из-под власти наркотика и не могут, гибнут. Я считаю: если найдется линия, дело, что-нибудь, что они ставят выше – значит придет и спасение. Это всегда внутри человека.

...Порой снится – неужели до сих пор сижу?! Но тяжелее пришлось на свободе, когда увидел, КАК ХАЛТУРНО ЖИВЕТ ОБЩЕСТВО. Иные контакты ввергают в ужас. Нашел себе некто нишу, работает потихоньку, ест, размножается, в ухо ему не дует, и ладно. Только бы не проникаться, не думать ни о чем...

Он в этой нише и курит, и пукает, и фортку открыть не хочет. Он привыкает к обжитому пространству, создает себе атмосферу, теплую вонючую духоту, которая есть часть его самого. Откроешь фортку – думать заставишь. Мне показалось – да стоило ли ради такого дерьма терпеть столько лет?

Поэтому многие приходили к черте потом, пережив лагерь, не вынеся свободы. Такая судьба была как раз у Леши. Такая же – у Миши, который накинул фуфайку. У всех, кто сворачивал в самообман.

А во мне стремление проследить процесс возникло давно – и когда знал стариков нэпманских времен, и когда жил среди урок, у которых свои неписанные законы.

У меня была потребность копаться в себе. Я менялся здорово, и оценки мои менялись. Как бы я раньше посмотрел на жулика, укравшего хлебные карточки? Как на подонка, обрекшего на голод целую семью. Спустя какое-то время я уже смотрел на это, как на ужас, двоякое несчастье (ему тоже надо жрать) и на вора – как на страдальца, а не только как на монстра. То есть всё-всё усложнялось...

Так урки утратили во мне урку, но не утратили мое сострадание. Я понимал – они более несчастны, чем я. И мне надо было идти дальше.

Каких было больше – тех, что поняли, или тех, что отказывались понимать, «накидывали фуфайку»? Да и тех и других было мало. Больше всего было – «ни то ни сё, будем как все». Перед такими вопрос черты не вставал.

Те же вохровцы имели сильнейшую иллюзию свободы, но на самом деле были оболванены сильнее, чем те, кого они охраняли, потому что верили, что служат правому делу. Несчастнейшие люди... Система была такая, что границу между более и менее оболваненными провести было невозможно.

Осужденные были заражены иллюзией свободы до такой степени, что, получив, наконец, эту свободу, оказались к ней не готовы. Мы верили, что выйдем и грянет новая жизнь, а в действительности получали удары поддых один за другим. На работу не брали. Сближаясь с людьми, мы имели возможность выбора: либо признаться, откуда мы, либо не признаваться. Признавшиеся видели в собеседнике искаженное лицо, и это был конец. Тот, кто отвергал нас, был заражен иллюзией, что он выше, чище нас, подонков...

Можно было не признаваться, сразу начинать врать, но тогда ложь, ее подночный яд начинали травить изнутри, трудно было говорить и воспринимать правду. Леша Поварницын, корифан мой по лагерю (он вышел раньше меня на три года) вдруг начал писать мне с воли невообразимые письма – «всё рушится, рушатся идеалы, что ж ты, мразь, говорил?...» Мне бы услышать за этими проклятиями глубочайшую растерянность, панику человека, у которого рухнули иллюзии... А я вдруг решил, что это продиктовано высокомерием вольного по отношению к зеку.

Леша в то время переживал трагедию, приведшую потом его к смерти. В лагере гнал по вене всё, вплоть до политани. Он хотел сделать революцию против государственного строя, но не знал, как, не смог прийти к тому, что оказалось бы выше отравы, и погиб. Он был обречен, своего рода рак разъедал его душу. Придя, я застал его уже после того, как он встретил Нину, имел дочь – порождение столкнувшихся двух обманов. Они изначально не могли друг друга понять. Начались взрывы, вспышки, несогласие. Как же они истязали друг друга! Она при нем спала с другими. И уйти не мог тоже.

Кончилось гибелью от водки почти намеренной: сначала он (опохмелился ацетоном), потом она. Было ли чувство? Несомненно, да, но было и другое – два человека столкнулись

с необходимостью стать другими. А как это сделать? Отсюда, из бессилия, и возник конец. Возможно, осознание себя как ничтожества, как мрази было началом изменения, но на большее сил уже не хватило.

...Порой мы неистовствуем, орем друг из друга, валим матюги – но не из ненависти, из самозащиты, неумения стать другими... А заговорить бы по-человечески.

Любовь... Не признаю это слово как формулу для лунатиков. Вот корчит и ломает молодых до вылупления глаз, а под ними – железный закон природы, и он всем правит. Есть любовь или нет, всё равно придет момент и будешь, будешь шпандорить так, что только треск пойдет. И щепки полетят!

Мое понимание? Два человека призваны Господом к действию, которое труд. Они должны посадить и вырастить молодое деревце, имя которому Любовь. Поливать его, ухаживать... но обязательно вместе. А если его постоянно выдергивать (ссориться, разводиться) и пытаться воткнуть снова, то ничего не выйдет, деревце засохнет.

1967—1968 год. Я был на поселении после лагерей – это поселок Глубинный Пермской области. И тут Она приехала. Я понял, что Она приехала ко мне. Сомнений у меня всю жизнь было полно. Вдруг не тот человек, не та семья? А кто же мне тот? Шаромыжник, собирающий бутылки? Да я что угодно буду делать, полезу на рожон, рубаху начну рвать на груди...

Поток пятый. Рывок из дискомфорта

Писать — это значит загонять себя в самим собой созданный туннель. Что позади — не устраивает, что впереди — неизвестно. Кто пошел по этому туннелю, редко возвращается.

Я всегда чувствовал себя одиноким человеком, у которого украдена ласка. Недостаток, недобор, обойденность, нехватка чего-то самого важного... Неистово искал, с кем я мог бы откровенничать. Этот путь привел меня к стихам.

Году в сорок втором—сорок третьем, двенадцати примерно лет, я сидел в деревне в хате, читал об Урале, а за окном была метель. И вдруг стало складываться в голове.

«А за окном седой февраль орал
А за окном — тайга, метель, Урал...»

Это поразительно — через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания — к первой мохнорылой попытке.

Вопросов «когда, что, почему?» еще не стояло. Но была некая предыстория творчества: сделай что-то словами, и станет легче.

...Мы получали «высшее пенитенциарное» образование: буквы алфавита узнавали из переклички тюремных надзирателей. «На сэ есть, на рэ есть? Кто на хвэ?» — так выкликали счастливцев, которым носили передачи родственники. Грамотой овладевали в «индиях» — до дыр зачитывая обвинилки, прежде чем пустить их на курево. «Индия» — камера, в которой сидели те, кому никогда ничего не приносили. Арифметика — отсиженные и остающиеся по приговорам годы...

Последовал большой временной разрыв, но через годы желание выкрикаться словами пробивалось снова. Непреходящая задавленность заставляла что-то корябать, как бы беседовать с самим собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.